

Е. А. МАЙМИН

ДЕРЖАВИНСКИЕ ТРАДИЦИИ И ФИЛОСОФСКАЯ ПОЭЗИЯ 20—30-х ГОДОВ XIX СТОЛЕТИЯ

Одно из важных, хотя внешне и не самых примечательных явлений поэтической жизни второй половины 20-х годов XIX в. — оживление интереса к Державину и его творчеству, причем интереса не праздного и не случайного, но носящего, как правило, конструктивный характер. Факт этот уже был отмечен в литературоведческой науке, хотя источник его, те причины, которые послужили к новому возрождению державинских поэтических традиций, оставались и до сих пор еще остаются недостаточно выясненными. Л. В. Пумпянский писал в своей статье о «Медном всаднике»: «По причинам, которые ждут еще глубокого исторического исследования, длинный ряд связанных с традицией XVIII в. произведений начинается у Пушкина едва ли не с конца 1826 г. . .».¹

Слова Пумпянского не только допускают, но и нуждаются в расширительном толковании. Сказанное им может быть отнесено не к одному Пушкину, но и к некоторым другим поэтам и даже целым поэтическим направлениям той же поры. Внимание к державинскому наследству — это явление не частное, не единичное, а во многом определяющее поэтические искания последнего десятилетия XIX в. в целом. Тем интереснее в таком случае выяснить источники этого явления.

Обращение к поэзии XVIII в., а следовательно, и к Державину и его творчеству, к державинской поэтике, в середине

¹ Л. В. Пумпянский. «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII века. В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 4—5. Изд. АН СССР, М.—Л., 1939, стр. 119 (разрядка моя, — Е. М.).

20-х годов XIX в. наблюдается скорее всего и нагляднее всего не у Пушкина, а у тех поэтов, которые объединены желанием создать в русской поэзии новое философское направление. Это поэты кружка Раича и среди них молодой Тютчев, это поэты-любомудры и в первую очередь их признанный теоретик и надежда — С. П. Шевырев.

В журнале «Московский вестник» Шевырев сделал следующее программное заявление: «Мы имели уже Ломоносова, имели Державина необразованного; но с тех пор, как его не стало, мы, кажется, не столько творили, сколько готовили материалы для творца будущего, а именно: очищали язык, отгадывали тайну его гармонии, обогащали его разнообразными размерами, оборотами, звучной рифмой, словом — приготавливали все для нового гения, для Державина образованного, который может быть уже таится в России».²

В этом заявлении Шевырева недаром все именем Державина начинается и тем же именем кончается. Очевидно, что для Шевырева — и для большинства любомудров тоже — Державин есть некий эталон: в истории русской поэзии он не только отправной пункт, но и один из важнейших пунктов ее назначения.

С конца 20-х годов, находясь за границей, Шевырев регулярно ведет дневник. В дневнике частые, по разным поводам, цитации из стихов Державина: поэзия Державина явно живет в нем, Шевыреву она органически близка. Так, он записывает под датой 2 марта 1829 г.: «Нарвский водопад зимою был для меня зрелищем совершенно новым... Вспомнишь невольно истину стихов Державина: жемчугу бездна и сребра».³

В том же дневнике Шевырева есть записи, в которых говорится о воздействии державинской поэзии на Пушкина. Записи эти не для печати, не для других, это наблюдения, которыми Шевырев делится только с самим собою, — и тем более они показательны. Шевырев пишет: «Заметно очень влияние другого гения на Пушкина — Державина. Вот примеры:

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

² Обзорение русской словесности за 1827 год. Московский вестник, 1828, ч. VII, № 1, стр. 66.

³ С. П. Шевырев. Дневник 1829—1830 гг. Отдел рукописей ГПБ (Ленинград), ф. 850, л. 1.

Не внушено ли это стихами Державина:

Оставя скипетр, трон, чертог,
Быв странником, в пыли и в поте,
Великий Петр, как некий бог,
Блистал величеством в работе. . .»⁴

Далее Шевырев приводит стилистические параллели из державинского «Водопада» и «Кавказского пленника» Пушкина и других пушкинских произведений. Параллели эти иногда любопытны, иногда сомнительны, Шевырев в своих утверждениях то слишком категоричен, то как будто бы не вполне уверен, делает выводы лишь в форме предположительной. Шевырев как будто бы хочет лишний раз убедить себя в обязательности той высокой оценки, которую он сам дает Державину. Если даже Пушкин видит в поэзии Державина источник живых поэтических ценностей (и Пушкин зрелый, Пушкин в расцвете своей славы), то значит эти ценности существуют воистину: они несомненны и абсолютны.

Державин для Шевырева-поэта — учитель первый и учитель всегда. Показательно в этом отношении одно из ранних стихотворений Шевырева, с которого, собственно, и началась известность его как поэта — стихотворение «Я есмь». Оно написано в 1825 г., восемнадцатилетним юношей, и получило одобрение Баратынского и Пушкина. Зависимость раннего опыта Шевырева от поэзии Державина сказывается и в жанре стихотворения: это особая, «чисто державинская» разновидность оды, без строгой выдержанности, с принципиальным отказом от всякой нормативности. Зависимость проявляется и в близости мотивов, словаря, характера ритма и ритмического движения.

У Шевырева:

Да будет! — был глагол творящий
Средь бездн ничтожества немых,
Из мрака смерти — свет живящий
Ответствует на глас — и вмиг
Из волн ожившего эфира
Согласные светила мира
По гласу времени летят. . .

Я есмь! — и в сей глагол единый совершенный
Слился нестройный тварей хор. . .

У Державина:

. . . Ты есть! — природы чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет,

⁴ Там же, запись под датой 11 ноября 1829 г.

Ты есть — и я уж не ничто!
 Частица целой я вселенной,
 Поставлен, мнится мне, в почтенной
 Средине естества я той,
 Где кончил тварей ты телесных,
 Где начал ты духов небесных
 И цепь существ связал всех мной.

Поэтическая зависимость Шевырева от Державина видна и на других, более поздних его произведениях. Так, стихотворение Шевырева «Как ты, египтянка, прекрасна» заметно перекликается со стихотворением Державина «Цыганская пляска» («Возьми, египтянка, гитару, ударь по струнам, восклицай...»). Стилистически близко Державину стихотворение Шевырева «Объятие», напечатанное в «Московском вестнике» за 1827 г.: «...Он мощно дух мой подвигает, он сам колеблет мой язык...» и пр.

Под сильным влиянием державинской поэтики был среди поэтов философского направления и А. С. Хомяков. Не только в поздних, сугубо славянофильских его стихах, но и во многих произведениях конца 20-х годов легко обнаружить стилиевые приметы поэзии Державина. Таково, например, стихотворение Хомякова «Поэт», написанное в 1827 г.:

... Кто даст ей голос?... Луч небесный
 На перси смертного упал,
 И смертного покров телесный
 Жильца бессмертного принял.
 Он к небу взор возвел спокойный.
 И богу гимн в душе возник;
 И дал земле он голос стройный,
 Творенью мертвому язык.

Архаические черты языка, которые здесь очевидны, свидетельствовали в конце 20-х годов (после Жуковского и Батюшкова, после пушкинской лирики и его южных поэм) не столько о продолжении языковых традиций XVIII в., сколько о намеренном возврате к этим традициям. В эти годы и у этих поэтов — одинаково и у Хомякова, и у Шевырева, и у Тютчева (применительно к 30-м годам это же относится и к Баратынскому) — архаический язык характеризовал не особое время, даже не стиль, а особенное направление в поэзии.

Может быть, у Тютчева это заметно больше, чем у других. Как поэт он начинает с лирического стихотворения характера «космического» и философского, он с самого начала находится в русле философского направления русской поэзии. О близости Тютчева — и не только молодого — к Державину и его поэзии

определенно и убедительно сказано у Тынянова: «Имя Державина, конечно, должно быть особо выделено в вопросе о Тютчеве. Державин — это была та монументальная форма философской лирики, от которой он отправляется. И это скажется во многих конкретных неслучайных совпадениях. «Бессонница», «Сижу, задумчив и один» полны чисто державинских образов (ср. «На смерть князя Мещерского», «Река времен» и т. д.).⁵

Итак, несомненным фактом является то, что во второй половине 20-х годов и позже державинские традиции были явлением живым и значимым для поэтов, вышедших из кружка «любомудров» (Л. Гинзбург писала: «...почти все любомудры восприняли некоторые архаистические тенденции»).⁶ Живым и значимым было поэтическое наследие Державина и для Тютчева, которого объединяло с любомудрами и пребывание в кружке Раича, и еще больше — стремление в своей поэтической практике найти возможный синтез поэзии и философии. Возникает естественный вопрос: не существует ли тесной зависимости между обращением поэтов к творчеству Державина и их же поисками в области философских поэтических жанров?

В 1830 г. Шевырев переводит октавами седьмую песнь «Освобожденного Иерусалима» Тассо и одновременно пишет свое «Послание к А. С. Пушкину». Внутренний пафос и «Послания», и перевода один — в стремлении обновить формы русской поэзии, и прежде всего ее язык. О необходимости такого обновления в связи с задачами философской поэзии говорил еще до Шевырева признанный глава любомудров поэт Веневитинов. Веневитинов писал: «У нас язык поэзии превращается в механизм; он делается орудием бессилия, которое не может дать отчета в своих чувствах и потому чуждается определительного языка рассудка».⁷ Реформа поэтического языка, которую задумал Шевырев, была в известной мере не только его собственным делом, но и выполнением общей программы любомудров.

Логика рассуждений Шевырева сводилась примерно к следующему. России, по многим причинам исторического и социального характера, нужна философская поэзия. Но такая

⁵ Юрий Тынянов. Вопрос о Тютчеве. В его кн.: Архаисты и новаторы. Изд. «Прибой», Л., 1929, стр. 382.

⁶ Лидия Гинзбург. Опыт философской лирики (Веневитинов). Поэтика. Сборник статей, т. V. Л., 1929, стр. 75.

⁷ О состоянии просвещения в России. В кн.: Д. В. Веневитинов, Избранное. Гослитиздат, М., 1956, стр. 212.

поэзия требует поэтического языка свежего, нестертого и необлегченного. «Легкий стих слишком хрупок и ломок, чтобы служить оправою полновесному алмазу мысли».⁸ Между тем язык современной поэзии, по мнению Шевырева, как раз и отличался такой «хрупкостью» и «ломкостью», такой невыгодной и просто опасной для выражаемой мысли облегченностью. «Я предчувствовал необходимость переворота в нашем стихотворном языке, — писал Шевырев в предисловии к публикации седьмой песни «Освобожденного Иерусалима», — мне думалось, что сильные, огромные произведения музыки не могут у нас явиться в таких тесных, скудных формах языка; что нам нужен больший простор для новых подвигов».⁹ В другом месте Шевырев еще резче характеризует поэтический язык своего времени: «...слух наш лелеяла какая-то нега однообразных звуков..., мысль спокойно дремала под эту мелодию и язык превращал слова в одни звуки...».¹⁰

Основной упрек Шевырева в адрес современного ему языка поэзии сводится к тому, что язык, в том виде, в каком он существует, сковывает мысль, не дает ей выразиться вполне и свободно. Для того, кто от поэзии требует больше всего мысли, этот упрек звучит очень серьезно. Недаром Шевырев так часто его повторяет. Повторяет он его и в своем «Послании к Пушкину»:

Так наш язык: от слова ль праздный слог
Чуть отогнешь, небережно ли вынешь,
Теснее ль в речь мысль новую водвинешь, —
Уж болен он, не вынесет, кряхтит,
И мысль на нем, как груз какой, лежит.
Лишь песенки ему да брани милы;
Лишь только б ум был тихо усыплен
Под рифменный отборный пустозвон.

У Шевырева в его предисловии к публикации и в послании не одни только упреки и критика, но и своя положительная программа. Он так рассказывает об истории «Послания к Пушкину»: «С последними звуками нашей монотонной музыки в ушах я уехал в Италию... Обратился к нашим первым мастерам — нашел в них силу... устыдился изнеженности, слабости и скудости нашего современного языка русского... Все свои чувства и мысли об этом я выразил тогда в моем „Послании к А. С. Пушкину“ как представителю нашей поэзии...».¹¹

⁸ С. П. Шевырев. Перечень наблюдателя. Московский наблюдатель, 1837, ч. XII, №№ 5—8, стр. 319—320.

⁹ Московский наблюдатель, 1835, ч. III, июль, кн. 1, стр. 8.

¹⁰ Там же, стр. 6—8.

¹¹ Там же.

В этом рассказе Шевырева не последнее место занимает ссылка на «старых мастеров». Кого именно здесь имеет в виду Шевырев — не является секретом. Один из них — Державин. В «Послании к Пушкину» имя Державина прямо называется. Говоря о современном языке поэзии, Шевырев восклицает:

Что, если б встал Державин из могилы,
Какую б он наслал ему грозу!

Державин, язык Державина, высокий, мужественный и свободный, и есть положительная программа Шевырева. И не одного его, но и большинства других поэтов философского направления.

Стремление к обновлению и освежению языка поэзии, стремление, порожденное идеей создать поэзию мысли, с известной внутренней необходимостью вызывает интерес к Державину, новое обращение к его творчеству и его поэтике. Для поэтов философской школы Державин оказывается во многих отношениях близким. Прежде всего потому, что он воспринимался поэтическим сознанием 20-х годов как поэт-философ, и значит, для любомудров был прямой их предшественник. Вяземский, имея в виду стихотворения Державина «К Скопину», «Мужество», «Ко второму соседу» и некоторые другие, писал: «По ним Державин не был бы первым нашим лириком, но всегда был бы мыслящим поэтом и поэтом-философом. Его стихотворения, точно как Горациевы, могут при случае заменить записки его века».¹² Признание весьма показательное, тем более что оно исходит совсем не из лагеря любомудров. Во времена любомудров Державин был широко признан как поэт-философ, и это только дополнительно укрепляло любомудров в их «державинской вере».

Конечно, собственно философия Державина не была ни достаточно глубокой, ни достаточно оригинальной. Но в его поэзии было стремление к обобщенной философской мысли, и этого было довольно, чтобы признать его «мыслящим поэтом». Для этого у него было и еще одно важное основание. В своей поэзии он не только стремился к мысли, но и выработал формы стиха и языка, способные выражать эти мысли. Белинский в статье «Литературные мечтания», в статье начала 30-х годов, где он особенно восторженно говорит о Державине (факт сам по себе показательный, как свидетельство общего тогда положительного интереса к державинскому наследию),

¹² П. А. Вяземский. Записные книжки (1813—1848). Изд. АН СССР, М., 1963, стр. 35 (разрядка моя, — Е. М.).

подчеркивает высокое звучание державинского языка, называя его «вещим, пророческим глаголом».¹³ Для Державина поэзия — это «высокие божественные мысли» и это вместе с тем «многосодержащие изречения».¹⁴ Так он сам определяет свою поэтику. И эта поэтика не могла не быть близкой Шевыреву и поэтам его кружка.

В своем стремлении создать стилистические средства поэзии размышляющей Шевырев и поэты философского направления обратились к языку, одновременно и старому и новому, к одическому языку XVIII в., к языку Державина. Высокий язык оды, обретший после Державина значительную степень свободы, не потеряв при этом и своей высоты, естественно противостоял обыденности и легкости поэтического разговора — той легкости, которая поначалу казалась абсолютно противоположенной всякой генерализации, всякому обобщению.¹⁵ Это был язык, который «исторгал из пелен плоти» и «из всех земных пределов», окрыляющий и возносящий, выходящий из мира конкретного и сугубо земного в мир космический и вневременной. Это был язык пророков. А такого языка как раз и требовала поэтическая программа и Шевырева, и Тютчева, и многих других поэтов, поставивших целью создать в России высокую философскую поэзию.

Искания Шевырева и Любомудров, их напряженный интерес к поэзии Державина и самые истоки такого интереса позволяют многое понять и в тех переменах, которые наметились с середины 20-х годов и в отношениях к Державину Пушкина. Б. В. Томашевский писал: «По-видимому, в дни пересмотра своего поэтического пути Пушкин задумывался над поэзией Державина».¹⁶ Это замечание Томашевского, соотнесенное им со временем написания оды «Вольность», с еще большим правом можно отнести к середине 20-х годов, ко времени, когда у Пушкина происходил наиболее резкий и наиболее основательный «пересмотр творческого пути». В самом деле, после декабрьских событий 1825 г.

¹³ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. I. Изд. АН СССР, М., 1953, стр. 48.

¹⁴ См.: Г. Р. Державин. Рассуждение о лирической поэзии. В кн.: Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота, т. VII. СПб. 1883, стр. 576.

¹⁵ Интересно в этом смысле признание Белинского, который писал, что в детстве, в сопоставлении с поэзией Державина, ему «поэзия Пушкина казалась слишком простою, слишком кроткою и лишенною всякого полета, всякой возвышенности» (В. Г. Белинский. Русская литература в 1841 году. Полное собрание сочинений, т. V, Изд. АН СССР, М., 1954, стр. 535).

¹⁶ Б. Томашевский. Пушкин, кн. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 156.

Пушкин переживает сильнейший внутренний кризис, в нем происходит процесс основательной переоценки всех ценностей. Это одинаково относится и к политике, и к литературе. В литературе у Пушкина это сказывается и в обращении его к медитативно-философским жанрам, и в заново пробудившемся и устойчивом интересе к поэтическому наследству Державина. Очевидно, что и у Пушкина, как это было у Любомудров, одно находится в тесной связи с другим.

Требование поэзии мысли, которое так настойчиво звучало в кружке Любомудров и которое вообще было характерно для последекабрьской эпохи, не могли пройти и мимо Пушкина. Оно не могло пройти мимо хотя бы потому, что поиски Любомудров в области философской поэзии носили в основе своей не частный, а общий характер. В них было знамение времени, они отражали самые насущные духовные потребности. Ведь осознание необходимости поэзии мысли ближайшим образом было связано с общим кризисом культуры, с мучительными поисками выхода, с осознанием возможности — может быть, в то время единственной достойной независимого ума — уйти с поверхности в глубину, начать работу исследования, углубленную работу мысли. Все это не могло быть для Пушкина безразличным и, естественно, должно было отразиться на характере его творческих исканий. В том числе исканий жанровых и стилистических, которые и заставили его обратиться к Державину.

До середины 20-х годов отношение Пушкина к Державину было неровным и противоречивым. Как писал Д. Д. Благой, «поэзия Державина скорее не удовлетворяла, чем «удовлетворяла» Пушкина.¹⁷ Иногда он восторгался ею, чаще относился к ней более чем холодно. В стихотворении 1814 г. «К другу стихотворцу» Пушкин причисляет Державина наряду с Ломоносовым и Дмитриевым к числу «бессмертных певцов». Но уже в следующем году в сатирическом стихотворении «Тень Фонвизина» Пушкин позволяет говорить о Державине не просто насмешливо, но и зло.

В послании «К Жуковскому» в 1816 г., в год смерти Державина, Пушкин пишет о нем, снова исполненный глубочайшего пиетета и уважения:

И славный старец наш, царей певец избранный,
Крылатым гением и грацией венчаный,
В слезах обнял меня дрожащею рукой,
И счастье мне предрек, неизвестное мной.

¹⁷ Д. Благой. Пушкин и русская литература XVIII в. В сб.: Пушкин — родоначальник новой русской литературы. Изд. АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 113—114.

А в 1818 г. в черновом варианте стихотворения «К Н. Я. Плюсковой» делает явный полемический выпад против Державина: «Я говорил: пускай Державин. . .».

Очень осторожны и сдержанны, а иногда и прямо критичны отзывы Пушкина о Державине в его статьях и письмах начала 20-х годов. Так, в статье «О причинах, замедливших ход нашей словесности» Пушкин пишет: «Согласен, что некоторые оды Державина, несмотря на неровность слога и неправильность языка, исполнены порывами истинного гения». ¹⁸

В том же 1824 г., отвечая Кюхельбекеру, он говорит о Державине прямо отрицательно: «...какой план в „Водопаде“, лучшем произведении Державина? Ода исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого». ¹⁹

И совсем уже критически, только критически, оценивает Пушкин Державина в своем письме к Дельвигу от июня 1825 г.:

«По твоем отъезде перечел я Державина всего, и вот мое окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка (вот почему он и ниже Ломоносова). Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии — ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. . .». ²⁰

В связи с приведенными словами Пушкина из его письма к Дельвигу Д. Д. Благой приходит к выводу: «Пушкин до конца не откажется от данного им в 1825 г. приговора Державину». ²¹ Едва ли это верно.

1825 год знаменовал собою не только наивысшую точку в критическом отношении Пушкина к Державину, но и был предвестием резкого перелома в оценке Пушкиным творчества Державина. Пумпянский, говоря о переломе, предположительно называет конец 1826 г.

Не ранее 1825 г. и не позднее 1827 г. Пушкин на полях статьи Вяземского о сочинениях В. А. Озерова, против слов: «<Державин> отвечал ему стихами, уже отзывающимися старостью поэта и не стоящими прозы Озеровой», — пишет: «Милый мой, уважай Отца Державина! Не равняй его стихов с прозой Озерова!». ²²

В 1827 г. Пушкин решительно протестует против тех мест в статье Одоевского, где автор не проявляет должного уважения

¹⁸ А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 7. Изд. АН СССР, М.—Л., 1951, стр. 18—19 (разрядка моя, — Е. М.).

¹⁹ Там же, стр. 41.

²⁰ Там же, т. 10, стр. 148.

²¹ Д. Д. Благой. Пушкин и русская литература XVIII в., стр. 115.

²² А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 7, стр. 559.

к Державину: «Разбор ваш „Пам[ятник]а Муз“ сокращен по настоящему требованию Пушкина. Вот его слова, повторяемые с дипломатической точностью: „Здесь есть много умного, справедливого, но автор не знает приличий: можно ли о Державине и Кар[амзине] сказать, что «имена их возбуждают приятные воспоминания», что «с прискорбием видим ученические ошибки в Дер[жавине]»: Державин всё — Державин. Имя его нам уже дорого“». ²³ Интересно, что, отвечая Погодину, В. Одоевский написал: «Пушкин имел право вступить за Дер[жавина] — свой своему и проч.» ²⁴

Подчеркнуто уважительное отношение к Державину, высокая оценка его творчества характерны и для всех высказываний Пушкина 30-х годов. В статье «Опровержение на критики», защищая «Графа Нулина» от упреков в фривольности, Пушкин ссылается в первую очередь на Державина: «А эротические стихотворения Державина, невинного, великого Державина. Но отстраним неравенство поэгического достоинства. „Граф Нулин“ должен им уступить и в вольности, и в живости шуток». ²⁵

В 1836 г. в ответ на упрек М. Е. Лобанова в забвении современной русской словесностью «величайшего гения» Державина Пушкин пишет: «Имя великого Державина всегда произносится с чувством пристрастия, даже суеверного». ²⁶

Явно изменив свое отношение к Державину в середине 20-х годов, в дальнейшем, до конца своей жизни, Пушкин оставался постоянен в этом своем очень положительном к нему отношении.

Печать державинской поэтики, державинского стиля видна у Пушкина второй половины 20-х годов главным образом на произведениях философского характера, на стихах ораторско-витийственных — словом, в тех жанрах, которые больше всего встречаются у Пушкина со второй половины 20-х годов и которые, кстати, были естественно близки поэтике Любомудров. Это очень характерно и показательно: как только Пушкин обращается в своем творчестве к стихам размышляющим, философским, к политической оде и т. п., его собственная стилистика, стилистика «южных поэм» и «Евгения Онегина», кажется ему недостаточной; он ищет новых и сильнейших средств выразительности, и он находит их в высоком, «державинском» языке

²³ Письмо Погодина к В. Ф. Одоевскому от 2 марта 1827 г. Русская старина, 1904, т. 117, стр. 705.

²⁴ Литературное наследство, № 16—18, 1934, стр. 691.

²⁵ А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 7, стр. 187.

²⁶ Там же, стр. 407 (разрядка моя, — Е. М.).

XVIII в., от которого еще совсем недавно он так настойчиво отталкивался.

Любомудры особенно высоко ценили стихотворение Пушкина 1829 г. «Пророк». «Пророк — бесспорно великолепнейшее произведение русской поэзии»,²⁷ — говорил Хомяков о стихотворении, которое, быть может, больше других и раньше других у Пушкина близко стилистическим традициям XVIII столетия.

Близко державинским языковым традициям и стихотворение Пушкина, написанное в 1827 г., — «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день...»).

«Воспоминание» — одно из первых медитативных стихотворений Пушкина, приближающихся к жанру философского. Это произведение глубоко лирическое и психологическое. Но вместе с неповторимо индивидуальными чертами в нем есть и вполне определенная установка на обобщение: не на человеческую только, но на всечеловеческую мысль. И вот эта установка на всеобщность, на генерализацию, на философичность мысли — в его языке, высокоом, одическом, выводящем за пределы обыденного. Книжно-приподнятые слова, слова традиционновитийственные: *смертного, немые стогны града, умолкнет, часы томительного бденья*; богатые смыслом, носящие конструктивный характер метафоры, вроде: *свой длинный развивает свиток, змеи сердечной угрызенья* — вот выразительные приметы этого языка, языка, который должен выразить не просто мысль, а мысль философскую, вневременную, космическую (и, разумеется, вместе с тем и личную мысль).

«Человек» — это может быть и сугубо конкретно, «смертный» — это и высокий заменитель того же понятия, это же и запечатленная в слове глубокая философская идея о человеке — главная идея. И «стогны» — это не то же, что улицы. В поэтическом смысле они даже противоположны «улицам». В отличие от улиц, это опять-таки совсем не конкретно, это указание вообще, указание на всякое, вне временной и исторической прикреплённости, обиталище для человека. Но все эти и подобные им слова характерны ведь для поэтического языка оды, для языка XVIII в. — для языка Державина в том числе.

Возникает, однако, вопрос: не слишком ли произвольно мы обращаемся с понятием «державинский стиль», «державинские традиции»? Может быть, Пушкин просто обращается к одическому языку XVIII в., творчески используя и осмысляя его, и это совсем не обязательно «державинский» язык?

²⁷ А. С. Хомяков, Полное собрание сочинений, т. VIII. М., 1904, стр. 366.

Конечно, между понятиями «державинский язык» и «одический язык XVIII в.» есть разница, и одно далеко не всегда можно подменять другим. Разница эта не столько внешняя, сколько внутренняя. Высокий язык Державина — это тот же одический язык XVIII., язык Ломоносова и Сумарокова, но внутренне раскрепощенный, освободивший себя от обязательного следования неподвижным правилам и строгим канонам. Как писал Г. А. Гуковский, «Державин выдвинул новый принцип искусства, новый критерий отбора его средств — принцип индивидуальной выразительности. Он берет те слова, те образы, которые соответствуют его личному, человеческому, конкретному намерению воздействия. „Высокое“ и „низкое“ у него сливаются. Он отменяет жанровую классификацию. Его стихи — не проявление жанрового закона, а документы его жизни».²⁸

Влияние державинской одической стилистики распространяется на многие стихотворения Пушкина 20-х годов и отчасти также, в меньшей степени, 30-х годов. Это стихотворения «Анчар», «Воспоминания в Царском Селе», «К вельможе» (ср. державинское послание «К Шувалову»), «Осень», стихотворения «Клеветникам России» и «Бородино» и др. На последних стихотворениях стоит остановиться особо. Их восторженно встретил Шевырев, он явно придавал им принципиально важное значение, как новому и желанному роду поэзии. Он писал о них С. А. Соболевскому 16 октября 1831 г.: «А славные стишки Ал[ександр] Сер[геевич] навалял! — Каково же? Первый голос политики у нас выражается стихами. Это странно. В России каких чудес не совершается. Эти пьесы весьма важны и составляют эпоху в нашем словесном мире».²⁹

Конечно, Шевыреву могли нравиться и нравились стихи Пушкина не за одну политику: недаром он говорит об эпохе в «словесном» мире. Открытая риторичность стихов Пушкина, ораторский пафос, подчеркнутая афористичность фразеологии — все это напоминало Державина и потому могло нравиться Шевыреву; это было то самое, что Державин ценил в поэзии, почитал для высокой поэзии прямо характерным. Державин писал: «От вдохновения происходят бурные порывы, пламенные восторги, высокие божественные мысли, выпренные парения, многосодержательные изречения, таинственные пред-

²⁸ Г. А. Гуковский. Русская литература XVIII века. Учпедгиз, Л., 1939, стр. 411.

²⁹ Пушкин по документам архива С. А. Соболевского. Литературное наследство, № 16—18, 1934, стр. 750.

вещания, живые лицеподобия, отважные переносы и прочие риторические украшения».³⁰

Если во второй половине 20-х годов творческое усвоение державинских традиций проявлялось у Пушкина прежде всего в области стилистической, языковой, то в 30-е годы в малых жанрах — и философских в том числе — Пушкин определенно возвращается к своей прежней стилистической системе, основанной на языке предметном, реальном в точном значении этого слова. Одический язык в стихотворениях Пушкина почти исчезает вовсе. В медитативной лирике 30-х годов, в стихотворениях «Элегия», «Когда порой воспоминанья», «Из Пиндемонти», «Когда за городом задумчив я брожу», «Вновь я посетил», нет уже внешних следов державинского стиля. Теперь в своих лирических стихах вообще, и в философских в частности, Пушкин все больше отказывается от всякого рода условности выражения (и той условности, которая освящена именем великого для него Державина!), и он становится все более точным, конкретным, непосредственным. На своем поэтическом пути Пушкин как будто бы снова удаляется от Державина. Но это только как будто бы. Нет уже внешнего сходства, но остается внутреннее. Философская лирика Пушкина сходна теперь с державинской не языком своим, не наружными приметам, а напряженным лиризмом, предельной конкретизацией отвлеченных тем, конкретизацией, которая не только не отменяет обобщающего характера мысли, но и поддерживает и усиливает его. Подобно Державину, все философские стихи у Пушкина выходят из конкретного жизненного впечатления, они все относятся к категории «стихов на случай». Сходство Пушкина с Державиным, преимущественно в стилистике, становится сходством менее заметным, но зато более глубоким — сходством в самой поэтической природе лирического стихотворения.

Сказанное выше вовсе не означает, что в 30-е годы в своем творчестве Пушкин начисто отказывается от стилистического, языкового наследия Державина. За редкими исключениями (например, стихотворение «Памятник»), он перестает им пользоваться в малых философских жанрах, где в силу самой их «малости» предельно ограничены возможности развития традиций, внутреннего их обновления, и он обращается к тому же державинскому наследию тогда, когда создает свою философскую поэму, одно из самых глубоких и совершенных своих произведений — «Медный всадник».

³⁰ Г. Р. Державин. Рассуждение о лирической поэзии, стр. 576.

Проблеме использования державинских стилистических традиций в «Медном всаднике» посвящена интересная, не потерявшая и до сих пор своего значения статья Л. В. Пумпянского. Автор видит в поэме Пушкина три стилистических слоя: одический, близкий к языку XVIII в., онегинский и беллетристический. При этом одический, державинский язык, как полагает Л. В. Пумпянский, у Пушкина неотделим от темы Петра и Медного всадника: «Но первый слой, одический, так же неразрывно связан с Петром и только с ним. Только для изображения Петра, основания Петербурга, всадника и погони всадника за Евгением Пушкин использует литературную традицию XVIII в.»³¹

Здесь Пумпянский допускает по меньшей мере неточность. Одизмы в «Медном всаднике» совсем не представляют собой тематически ограниченной и замкнутой системы.

Державинский стиль поэмы связан, конечно, не с одним только изображением Петра и Петрова творенья. Тем же державинским языком написаны и сцены бунта Евгения, характеризуется сам Евгений, по мере того как вырастает его значительность и усиливается сочувствие к нему как самого поэта, так и читателей поэмы. Не приводя многих примеров, ограничусь одним. Вот как, какими словами рисуется Евгений в кульминационной сцене поэмы — сцене бунта:

Кругом подножия кумира
 Безумец бедный обошел
 И взоры дикие навел
 На лик державца полумира.
 Стеснилась грудь его. Чело
 К решетке холодной прилегло,
 Глаза подернулись туманом,
 По сердцу пламень пробежал,
 Вскипела кровь. Он мрачен стал
 Пред горделивым истуканом
 И, зубы стиснув, пальцы сжав,
 Как обуянный силой черной,
 «Добро, строитель чудотворный! —
 Шепнул он, злобно задрожав, —
 Ужо тебе!»...

«Дикие взоры», «пламень пробежал», «стеснилась грудь», «чело», «хладный», «обуянный» и пр. — все это, очевидно, не «онегинский» язык и не язык беллетристический. Здесь приметные черты того же одического стиля, о котором говорил

³¹ Л. В. Пумпянский. «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII века, стр. 93.

Л. В. Пумпянский в связи с изображением Петра. В приведенном отрывке в общем высоком контексте даже обиходные русские слова звучат как одизмы. Стилистические средства характера Евгения в момент наивысшего напряжения конфликта оказываются у Пушкина однородными со средствами характеристики Петра. И в этом одном уже видна глубокая гуманистическая мысль поэмы. Конфликт воспринимается и поэтом, и читателями во всей остроте: сталкивается не малое с большим, а две равновеликие силы.

Одическо-державинская стилистика в поэме «Медный всадник» играет не служебную, а основную, ведущую роль. Она прямо соотносится с жанром поэмы, с ее философски-обобщенным характером, с предельной остротой ее сюжетного конфликта.

Однако в своей философской поэме Пушкин не только использует державинские языковые традиции, но и развивает их. То, что ему нелегко было сделать в произведениях малых форм, он сделал в поэме. Применительно к «Медному всаднику» Л. В. Пумпянский был особенно прав, когда писал, что «одизмы Пушкина... представляют заодно и возрождение и низложение классической традиции XVIII в.».³²

Обусловленный широким использованием одизмов, философски приподнятый, внебытовой высокий тон поэтического рассказа соответствует в «Медном всаднике» основной теме поэмы и в самом общем плане характеризует ее стиль. Этот торжественно-поэтический тон отражает характер повествования и настроение повествователя. Все это пока не выходит за пределы того, что было или могло быть у Державина, все это в достаточной мере традиционно. В рамках державинских традиций и свободное столкновение в «Медном всаднике» разностильных языковых элементов. Но Пушкин, как уже говорилось, не только наследует традиции, но и развивает их. Его языковая свобода оказывается внутренне подчиненной: в «Медном всаднике» видимая свобода языкового употребления тесно увязана с внутренним ходом повествования. То, что в стилистической системе Державина заключено только как возможность, Пушкиным доводится до логического завершения. Как заметил Б. П. Городецкий, «намеченные в державинском творчестве новые возможности лирического выражения не были до конца исчерпаны им самим, в силу этого поэзия Державина в пору созревания гения Пушкина во многом отвечала конкретным задачам литературного развития».³³

³² Там же, стр. 114.

³³ Б. П. Городецкий. Лирика Пушкина. Изд. АН СССР, М.—Л., 1962, стр. 41.

У Пушкина внутри основной ведущей темы «Медного всадника» есть свое движение, развитие, свои глубинные изменения. Но соответственно этому движению темы у него варьируется и стиль. Одическая языковая система становится максимально подвижной, она окончательно теряет свою устойчивость и вместе с тем заново и в большей мере обогащается смыслом и выразительностью. У Пушкина в «Медном всаднике» не только основная тема внутренне богата, но в такой же степени богата нюансами, оттенками, прямыми и эмоциональными смыслами словесная инструментовка темы. Приведу пример.

Уже во вступлении к поэме, выдержанном в общем высоко-торжественном, одическом плане, можно наблюдать эти стилистические переходы, отражающие тончайшую смену мыслей, чувств, едва заметное изменение авторской точки зрения. С начала вступления к поэме высокий патетический тон авторской речи выдерживается безусловно. И так до слов: «Люблю тебя, Петра творенье...». Эти слова вводят в одиночное вступление новое начало, тема разнообразится, меняется угол поэтического зрения: в тему включается нечто интимное, сугубо лирическое — то, что идет как бы непосредственно от самого автора. Вместе с тем нечто новое появляется и в языке поэмы: больше конкретного, неповторимо-земного, больше личного: «... когда я в комнате моей пишу, читаю без лампы, и ясны спящие громады пустынных улиц...», «... люблю зимы твоей жестокой недвижный воздух и мороз, бег санок вдоль Невы широкой, девичьи лица ярче роз, И блеск, и шум, и говор балов, А в час пирушки холостой Шипенье пенистых бокалов И пунша пламень голубой...» и пр. Во вступлении к поэме отнюдь не происходит резких переходов и изменений в языке — все это лишь речевые вариации на основную и высокую тему, но все это придает жизнь и выразительность поэтическому языку, все это бесконечно обогащает то, что Пумпянский называет «одическим» стилем.

Унаследованная от Державина русским литературным языком громадная одическая культура не была и не могла быть неподвижной. Она со временем изменялась, развивалась, и Пушкин, унаследовав эту культуру во всем ее богатстве, со всеми ее приобретениями, использованными и неиспользованными возможностями, сам неизмеримо много сделал для развития и обновления этой культуры. Подобно Любомудрам, во второй половине 20-х и в 30-е годы, проявляя постоянный и деятельный интерес к державинскому наследию, Пушкин, однако, в использовании этого наследия достиг большего, чем Любомудры, и пошел дальше, чем Любомудры.